

Пегтымель // Северные Просторы, 2000. № 2–3. С. 42–48.

Натан Богораз не скрывал восхищения, глядя на рисующих чукчей: «Было странно видеть, как какой-нибудь дикий оленевод из глубины тундры или охотник за тюленями, от роду не державший в руках карандаша, взявши его своими неуклюжими пальцами, привычными к аркану и копыю, проводил тонкие и уверенные штрихи и быстро набрасывал ряд рисунков, неожиданно точных и своеобразно изящных». При чтении вышедшей в 1907 г. книги Богораза о чукотской религии возникает ощущение, будто повествуют в ней рисунки, а текст лишь озвучивает их «за кадром». Богораз знал чукотский язык, но его диалог с чуками шел на каком-то ином языке: он спрашивал словами, а в ответ получал рисунки.

С тем же языком изображений столкнулся на севере Чукотки археолог Николай Диков, в 1967-68 годах обследовавший петроглифы (наскальные рисунки) на берегу реки Пегтымель. Кому отвечали предки чукчей, выбивая кусками кварца на полотне скал сцены охоты на китов и оленей? Магия! — восклицает Диков — «Мечта об обильной добыче определила общий смысл пегтымельского наскального искусства. Больше забить диких оленей, больше забить морского зверя — вот что вызвало к жизни это искусство». Особенно его поразили рисунки людей с огромными грибами на головах: это люди-мухоморы или духи-мухоморы, пьянящие людей и уводящие их в мир видений и фантазий; их, по мысли археолога, изображали на скалах с той же «магической целью, чтобы вызвать обильный урожай мухоморов в тундре».

Чукчи-олленеводы, кочующие в долине Пегтымеля, не разделяют благоговения ученых перед петроглифами и считают их делом рук юного озорника или мечтателя стародавних времен. Предания о разрисованных скалах, если и существовали, то канули в прошлое, а вслед за ними и обряды, когда-то проводившиеся на правом берегу Пегтымеля. На левом берегу, у впадения речки Гэсмыткун, есть скала (*ка́мак*), у которой проезжающие чукчи приносят поминальные жертвы — там несколько десятилетий назад беглые зеки вырезали стойбище оленеводов. А на правом люди вообще бывают редко, здесь никто не ставит яранг и не пасет оленей.

Чукчи не поклоняются разрисованным скалам, но в языке хранят для них особое название — *каленмэн* (от *кален* — ‘раскрашивать’, ‘рисовать’), в отличие от обычных прибрежных скал (*енмыт*). Пришлые старатели-золотодобытчики называют их кекурами, но чукчи уточняют: кекуры (по-чукотски *перка́т*, от *перкалаул* — ‘камень-человек’) — это стоящие среди горных долин фигурные камни-столбы, они намного древнее рисованных скал. Когда-то они были живыми людьми и зверями, но слишком страшными, отчего и окаменели. Под их толстой каменной кожей течет медленная жизнь, и кекуры время от времени разговаривают друг с другом. Шаманы тоже могут общаться с каменными людьми, некоторые даже пробовали мериться с ними силой, но, говорят, хватка каменного человека опасна даже для сильного шамана.

На исходе двух поездок на Пегтымель мне удалось добраться до страны каменных людей, расположенной на берегу моря к востоку от устья реки. Среди горных долин кекуры стоят то поодиночке, то группами, то длинными рядами, перерастающими в скальные хребты. Время и расстояния здесь не совсем обычные: кажется, глыбы находятся совсем близко друг от друга — настолько, что и впрямь могут поговорить, но путь от одной к другой оказывается таким долгим, что успевает смениться погода и вместо солнца с моря налетает туман. Только что каменный человек был беременной женщиной, и вот уже он — опирающийся на посох старик. Только что бородатый человек кормил с руки орла, но вдруг его лицо становится

пастью ящера, а орел — трезубцем. Кружа у одного кекура, можно дать ему несколько имен, а затем, оглянувшись, обнаружить, что соседняя поляна с каменными изваяниями успела превратиться из солнечного города в лунную пустыню. Прежде чем высадиться на этот берег, я снимал резвящихся в море китов, усевшись с камерой на тяжелой, спокойно отбивавшей удары волн льдине. Здесь, на берегу, даже киты показались мне игрушечными. Звук, исходящий от каменных людей, напоминает зияние пропасти; слушая его, я понимал, что мое завершающееся путешествие по Чукотке только начинается.

Бессловесный обряд

Летом 1998 г. я отправился к чукчам-оленеводам в верховья Пегтымеля с надеждой добраться от них к низовьям реки, где находятся скалы с рисунками. Путешествие по реке по разным причинам не заладилось, и я провел несколько недель в общении с дедом Наталько и его соседями по стойбищу. На другой день по прибытии, взяв камеру, я пошел с дедом на рыбалку. К тому утру мне удалось затвердить лишь одно чукотское слово — *эпей* (обращение к старшему, старику), а дед Наталько за свою долгую тундровую жизнь (его имя, кстати, означает «Тундровый») выучился бойко произносить только одно русское слово — «нормально». Так мы с ним весь день и общались: я ему — «эпей», а он в ответ — «нормально»; правда, на обратном пути к ярангам, роли, как будто, поменялись, и уже он обращался ко мне: «эпей». За то же время я сумел втолковать деду, что перед камерой не надо замирать, а он поведал мне, что беспокоится о долгом отсутствии своей старухи, ушедшей навещать в соседнее стойбище дочь. Мы подолгу вместе вглядывались в распадок, откуда должна была появиться старуха. Он наступил на свои очки и помял дужку, я долго ковырялся, выправляя ее. Он ловил хариусов и пек их на костре, мне доставались самые жирные куски. При переходе вброд рукавов реки и остановках он отдавал команды двум своим собакам, я быстро научился их понимать и невольно следовал им. С того дня языкового барьера между мной и дедом Наталько не стало.

Вслед за словом «эпей» я выучил слово *вапак* (мухомор). В своих рассказах чукчи упоминали его то с усмешкой как стариковский способ опьянения, то с опаской как смертельный яд. Таинственная и чудовищная сила мухомора описывается в притчах о маленьком грибе, разрывающем своей головой тяжелое каменное тело земли. Люди, глотавшие мухомор, либо погибали, либо обретали невероятную мощь. Как-то провожая меня в тяжелый пеший переход по горам, один из стариков советовал: «Найдешь вапак, проглоти — не заметишь, как дойдешь». Тем же словом они называли «волчью смерть» — свернутый в пружину обмазанный жиром кусок китового уса с заостренными концами, убивающий проглотившего его волка.

Слово «вапак» звучало и в суждениях на самые серьезные и трезвые темы. Размышляя о судьбе Чукотки и своего народа, чукчи избегают политического языка, который не вносит в их жизнь ничего, кроме путаницы. Зато, как на откровения, они ссылаются на предсказания глотавших вапак «ясновидящих». Мухоморные пророчества разлетаются по всей тундре, становясь буквально притчей во языцех. Они передаются эмоционально и больше напоминают выкрики, чем внятную речь:

«Ой-эй, учатся чукчи! Доучатся наши чукчи, что будут одни бумаги, а оленей не будет!»

«Ой-ё-ёй, олени! Что-то олени, кажется, пропадают! А где же люди? Вместо оленей продукты, ой, как много продуктов! Это за оленей дали! О-ого, теперь ни продуктов, ни оленей! Совсем оленей мало осталось!»

«Ой, на сопках много балков построили! Ой, в них много людей! Ой, они пустеют, люди куда-то подевались! Конец света скоро наступит! Кто успеет, спасется на сопке Туркиней (Солнечная гора), от них пойдет новая жизнь!»

Пегтымельские чукчи говорят, что мухомор должен быть не сорван, а выкопан с корнем, и не рукой, а деревянной палочкой. Его нельзя жевать, а нужно проглотить целиком. Желательно даже не запивать его водой, а просто побольше набрать в рот слюны. Если гриб «ползет» легко — будешь помнить увиденное, если плохо — все забудешь.

Многие чукчи боятся «принимать» мухомор, считают это делом или даже искусством «ясновидящих». Рассказы о тех, кто случайно отведал вапак, заканчиваются примерно так: «Разошлись они в разные стороны и все погибли». Мухоморное «погружение» — рискованное путешествие в мир духов и умерших, ритуальная (а иногда реальная) смерть. Наталько рассказывал, как однажды, проглотив мухомор, он оказался в стране мертвых, прошел разные круги покойников, в том числе утопленников и светившихся «сгоревших». Всюду его поторапливали, предупреждая, что если он задержится, то останется навсегда. Между светящимися «сгоревшими» пройти было особенно трудно. «Только когда я нужную песню вспомнил, сумел пройти», — вспоминал Наталько.

Мне не удалось найти вапак в тундре — то ли лето выдалось холодное, то ли мухоморы попрятались. Одна старуха рассказывала, что в детстве ей удавалось находить много мухоморов, на что ее отец, «ясновидящий», однажды заметил: «Не надо много собирать. Если увидишь, обойди стороной и скажи: “Я тебя не видела, прости меня”».

Я увидел вапак при слабом мерцании огня в темноте августовской ночи, когда начинался праздник *н.эгыргын*. Наталько взглядом указал мне на маленький гриб, едва заметный среди огромной охапки зеленых веток. Только что Рахтына, жена Наталько, добыла трением «живой огонь» и вынесла его из яранги. Охапка зелени, предназначенная для обрядовых действий, лежала рядом с разгорающимся костром. Так вапак вместе с «живым огнем» и домашними духами открывал главный ритуал чукчей, называемый праздником «молодого оленя» или чукотским Новым годом. Он приходится на один из семи календарных сезонов — раннюю осень (*н.эгыргын*) или лунный месяц «счищения кожи с оленьих рогов» (*нетхыльын*) и обозначает переход от года-лета к году-зиме.

Трехдневный праздник представляет собой цепь обрядов «обновления жизни»: перенесение яранги на новое место, раскраска одежды и полога яранги, добывание нового («живого») огня, встреча и проводы стада, жертвоприношение оленей, разрисовка оленьей кровью лиц людей и личин духов, изгнание злых духов *келе* («задымление яранги»), «сосание важенок», изготовление духов-хранителей *тайныквыт*, сожжение и захоронение оленьих костей. Ритуал воспринимается как время-место сбора людей, зверей и духов, а главным его событием является встреча людей и вернувшегося с дальних летних пастбищ (летовки) стада. Жертвенные олени «приходят» в ярангу, их черепа крепятся к священному шесту у очага, под копыто оленя подкладывается травяная кочка — «чтобы ноге было мягко». В завершение обряда оленей «провожают» на волю, укладывая их черепа в направлении от яранги к тундре. В ответ на хорканье оленух, у которых отняли принесенных в жертву телят, из яранг несутся звуки бубнов. На третий день пастухи и их дети сосут молоко важенок, подражая движениям оленят, а женщины строят из травяных кочек, песка и камней маленькие яранги, у которых «остаются жить» принесенные в жертву олени.

В празднике участвуют все, но каждая яранга совершает свой цикл обрядов, в каждую приходят ее олени, в каждой звучат ее бубны, а ее обитатели раскрашивают

свои лица особым рисунком. Я провел большую часть праздника у яранги Наталько, время от времени навещая хозяев остальных трех яранг. Исподволь расспрашивая легко говорящих по-русски молодых чукчей о значении того или иного действия, я с удивлением отмечал, что их объяснения почти полностью совпадают с моими догадками. В конце концов мне стало ясно, что обряд и не нуждается в словесном объяснении, в нем нет ничего тайного и иносказательного, он не просто открыт, а широко распахнут для всех его участников, в том числе для меня, чужака, которого в каждой яранге приглашали постучать в бубен, угощали запеченными на священном костре кусками оленины и кружкой припасенной на праздник браги.

Я чувствовал себя легко со своим скудным запасом чукотских слов еще и потому, что сложный, изобилующий действиями, звуками, нарядами, красками ритуал не содержал словесных формул — ни гимнов, ни молитв, ни заклинаний. Люди не безмолвствовали, но их разговоры текли своим чередом, а обряды напоминали театр пантомим. Создавалось впечатление, будто ритуал преднамеренно очищен от слов и речей, будто он — сам по себе речь, состоящая из движений, звуков и цветов. Старые чукчи верят, что подобные праздники с плясками-пантомимами под звук бубна устраивают не только люди, но и медведи, волки, собаки.

Впрочем, один облаченный в слова голос все же имеет прямое отношение к празднику. Это голос вапак, звучащий в мухоморных пророчествах. Именно к обряду *н.эгыргын* в прежние годы чукчи приберегали собранные за лето мухоморы. Августовский праздник и сейчас сопровождается обильными возлияниями, а прежде он был временем и местом мухоморных «погружений». По воспоминаниям Наталько, когда он был совсем маленьким («носил *кал хикер*» — меховой детский комбинезон), его родители вместе с другими жителями стойбища «ходили под мухомором» по двенадцать дней подряд, глотая вапак, гриб за грибом, каждый день. На двенадцатый день, когда олени пришли к ярангам, он, маленький Наталько, взял отца за руку и стал водить его среди стада. Показал рукой на здорового ездового оленя — вот этого надо забить. Оленя тут же забили. Показал на собаку, и ее тут же принесли в жертву. Наталько с гордостью вспоминает не только о том, как его, почти младенца, беспрекословно слушался отец (родители позднее сами удивлялись случившемуся), но и о сверхъестественной силе «погруженных» пастухов, о легкости, с которой они ловили оленей короткими арканами или просто руками.

Осенний праздник означает окончание изнурительной летовки, в течение которой мужчины бродят, вернее, бегают за стадом в десятках километров от яранг, а в ярангах их семьи доедают последние крохи прежних запасов. Жизнь стойбища, будто замершая на лето, взрывается в эмоциональном ритуале с его пиршеством и разгулом, бдениями и видениями. По старым поверьям, даже на небесах в это время шумело празднество. Скорее всего, именно об августовских (праздничных) дождях говорится в чукотской сказке, рисующей дикую вакхическую сцену с участием небожителей: одноглазый человек-молния волочит за ноги свою одноглазую сестру; она пьяна от мухоморов, от ударов ее затылка о небесный пол раздается гром, изливающаяся из нее моча падает на землю дождем.

Истоки праздника уходят в эпоху, когда чукчи были не пастухами, а охотниками. Многие черты августовского ритуала, связываемого сегодня почти исключительно с оленеводством, выдают в нем обряд охотничьего «благодарения». По обилию приносимых в жертву оленей праздник напоминает массовую «поколюгу» диких оленей на речной переправе, и в прошлом он был посвящен встрече-сражению людей и дикого стада.

Пещерное вдохновение

На следующий (1999) год мне удалось побывать в низовьях Пегтымеля, где находятся скалы с рисунками. Первое же ощущение от петроглифов показалось знакомым, как повторяющийся сон. Изображения на скалах легко перекликались с чукотскими обрядами, причем не столько сюжетами, сколько простым до невыразимости языком. Картина «Разговор оленей» отчетливо звучала чукотскими бубнами, среди пляшущих людей-мухоморов я узнавал маленького Наталько, держащегося за руку своей матери.

В середине скалы, на которой находится большинство рисунков, есть пещерка, где можно укрыться от ветра, дождя или метели. Левая стена пещеры на высоте глаз сидящего человека испещрена точками и беспорядочными «пробами пера» — здесь древний художник делал наброски будущих картин. Скала выступает на перегибе береговой гряды подобно мысу. Из устья пещеры просматривается огромное пространство долины Пегтымеля, и она могла служить не только удобным укрытием в непогоду, но и наблюдательным пунктом во время охоты на дикого оленя или войны. На той же высоте, в скалах вверх и вниз по течению реки есть еще две маленькие расщелины-пещерки, грани и выступы которых тоже оббиты пробами и зарисовками. Складывается впечатление, что обитатели Пегтымеля были одержимы каким-то пещерным вдохновением.

Чукчи не обожествляют природу, как о них иногда пишут, и даже не очеловечивают. Они просто не отделяют себя от нее. Мужчина, полагающий, что его любимая ручная оленуха вскоре после смерти возродится в его дочери, или женщина, считающая себя возрожденной нерпой (не вообще нерпой, а той самой, с рассеченным ухом), не мыслят символами, не веруют, а просто осознают все это как действительность. Раскапывая нору тундровых мышей и добывая оттуда вкусные сладкие корешки, чукотская женщина кладет взамен припасенные кусочки мяса или рыбы — «чтобы в доме мышек тоже была еда». Дети оленеводов поразительно точно воспроизводят голоса новорожденного олененка, кормящей оленухи, распаленного страстью оленя-самца. Накидывая на плечи олени рога и хоркая по-оленьи, они убегают от своих сверстников, ловящих их арканом. Пойманных «оленей» валят на землю и «забивают», изображая удар ножом в сердце. Затем олени и пастухи вскакивают на ноги и меняются ролями. Так чукотские дети играют («рисуют») впечатляющие их жизненные сцены.

В обрядности чукчей любое изображение, будь то выстругивание деревянной фигурки домашнего духа *тайныквыт* или раскрашивание кровью лица, служит обозначением каких-то важных связей. Рисунок кровью на лице связывает в едином пространстве-времени людей одной яранги или одного очага, духа огня и покровителя стада (на его личину наносится тот же рисунок), священные вещи (их смазывают жертвенной кровью) и самих оленей. Знак крови устанавливает, вернее каждый год переутверждает, некий корень отношений между людьми, духами, оленями, вещами. Подобный «корень» выражен и в рисунке на верхней части полога яранги, где красной краской изображены слева направо: олененок и олень, солнце, человек и человек. Если духовным двойником хозяйки яранги является птичка *кэлелен пчечальгын*, то и ее изображение рисуют на пологе; при этом на кухлянки детей пришивают перышки, а к обуви — птичьи коготки. Одна старуха после смерти мужа нанесла на свой полог рисунок четырех лосей черной краской (углем, перемешанным с нерпичьим жиром). Заменяв красное черным, она утвердила иной «корень» жизненных, вернее смертных, связей.

Многие рисунки на скалах Пегтымеля отображают сверхсостояния. Это картины охотничьей героики, соседствующие с мухоморными видениями. Это завораживающие зрелища, не передаваемые человеческим языком, сцены диалога духов, людей и зверей, которые могут быть воспроизведены в ритуалах и повториться в реальности, если они запечатлены («укоренены») в изображениях.

Иногда, обнаружив в укромной скальной нише очередной силуэт оленя или гриба, я ловил себя на ощущении, будто рисунки намеренно скрыты от глаз, что они — священный клад. В отличие, например, от огромных норвежских изображений, пегтымельские рисунки маленькие, величиной с ладонь. Их трудно заметить с реки, не видны они и с верхнего края обрыва, многие укрыты в скальных нишах. Художник явно не был озабочен манифестацией своих творений, напротив, он создавал для них покой и уют. Расположены рисунки на уровне глаз сидящего, реже стоящего, человека. Художник не был скалолазом, он работал, присев в укромном месте у тропы на удобный скальный выступ. Едва ли здесь, у камня, мог проходить какой-либо массовый ритуал. Скорее всего, скала удостоилась чести быть отмеченной рисунком за то же, за что раскрашивают теплый полог яранги. Только на пологе рисует женщина, а скала стала охотничьим «пологом» для тех, кому приходилось подолгу укрываться в ее пещерках.

На скалах изображено более трех десятков людей-грибов. Среди них — полуобнаженные или обнаженные женщины, что подтверждают видевишие рисунки чукчи. В некоторых композициях обнаженным женщинам вторят изображения мужчин с рельефно обозначенными детородными органами. Некоторые из эротических картин несут на себе следы царапин или шорканья, что не исключает сексуально-«магического» к ним отношения.

Облик людей с огромными шляпами-мухоморами над головами (или вместо голов) сходен с чукотскими описаниями мухоморного погружения: «Когда проглотить мухомор, чувствуешь себя крепко; ноги идут, но голова другая — голова мухомора на тебе». Старик Наталько рассказывал, что в одном из своих погружений увидел уходящих из яранги людей (предзнаменование их смерти). «Ты это видел?» — перебил его слушатель-чукча. «Я-то не видел, это видел вапак», — ответил Наталько. Представление чукчей о замещении головы человека шляпой мухомора объясняет странную сцену, описанную когда-то Богоразом: «Один пьяный мухомором ходил кругом со втянутой шеей и уверял каждого, что он не имеет головы».

Часто люди-грибы предстают отстраненными участниками охотничьих сцен, будто рассказчики-провидцы, изрекающие мухоморные пророчества. Иногда они танцуют в окружении оленей, будто исполняя обряды праздника *н.эгыргын*. В отдалении от главной картинной галереи я нашел петроглиф, на котором мухомор изображен между байдарой и китом, и назвал его «Вапак-китобой». Гриб на рисунке не уступает в размерах киту. Мне вспомнился рассказ об анадырских чукчах, глотавших вапак перед началом охоты на оленей «для приобретения большей ловкости и проворства». Вспомнились предания о свирепых викингх-берсерках, поглощавших перед боем красные мухоморы. Воспоминанием представился и этот рисунок на пегтымельской скале, где бесстрашный вапак ведет байдару китобоев наперерез киту.

Мне самому не помешала бы пара «пятнистых», когда я сидел среди моря на льдине и ловил в объектив играющих неподалеку китов. Позднее, уже на берегу, я рассматривал разноцветные пятна мха на серой скале и различал в них то высунувшийся над волной хвост морского чудовища, то однорогого оленя, то маленького смешного человечка. Скала будто дразнила: подрисуй киту фонтан, а оленю второй рог. Здесь, на Чукотке, учителем рисования была сама природа. Ее простой язык движений, звуков и красок переняли и чукотские люди, бившие огромных китов в

ледяном море и выбивавшие маленькие рисунки на скалах Пегтымеля. Эти рисунки понятны и людям, и зверям, и морю, и самим скалам. Они очень похожи на обряды, только не прерываются, а живут в бесконечно растянутом мгновении — как «каменные люди», застывшие в причудливых позах среди межгорных долин.

А. Головнёв